



Алексей
Алёхин

**ВАРЕНЬЕ
ИЗ
ПАДАЛИЦЫ**



МОСКВА
2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
А49

В оформлении обложки использована иллюстрация:
© Larissa Kulik / Shutterstock.com;

В оформлении форзаца использована иллюстрация:
© Graphic design / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Алехин, Алексей.

А49 Варенье из падалицы / Алексей Алехин. — Москва : Эксмо, 2023. — 512 с.

ISBN 978-5-04-169179-0

Алексей Алехин для ценителей современной поэзии личность легендарная: много лет был главным редактором журнала «Арион», в котором публиковались Максим Амелин, Сухбат Афлатуни, Вера Павлова, Ирина Ермакова, Мария Галина и многие-многие имена, уже ставшие классикой сегодняшнего дня.

«Варенье из падалицы» — книга миниатюр, каждая из которых похожа на стихотворение, сделана из того же материала, что стихи, но крой — свободнее. Нет рифм и ритма, и от этого образы живут полнокровнее.

Ювелирное внимание к деталям и мельчайшим оттенкам смысла — в этом тончайшем слое творческого живет гений Алехина.

Почти каждую его миниатюру хочется рассматривать на ладони, как каплю росы, — в ней целый мир и множество миров сразу.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-169179-0

© Алехин А., текст, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Все эти выпавшие из записных книжек строчки и фрагменты норовили стать если не стихами, то, на худой конец, хоть прозой. Они вроде падалицы, не поспевшей в настоящие яблоки.

В детстве у нас на даче варили из падалицы чудесное варенье.

Вот только я забыл спросить рецепт.

1968

С тех пор как люди изобрели очки, приходится вспоминать, куда ты их засунул.

Такой гуманист, что жалел даже милиционеров на перекрестке.

Подслушал, как один работяга пересказывает другому содержание «Сказки о царе Салтане». При этом оба сидят орлом в соседних отсеках заводского сортира.

Поздно вечером в дверь позвонил мужик в черном флотском кителе без нескольких пуговиц, представился подводником и попросил одолжить... трусы.

От обращения «девушка» свечкой пахнет.

1969

Пеньков-Веровкин.

Ночью ему приснилась лошадь с педалями.

Развелось столько умных, что обыкновенная глупость выглядит проявлением своеобразия.

— Идем мы, значит, с Мишкой мимо фонтана, что позади Пушкина Мишка мордой сияет весь фронт такой в клешах и батничке только гвоздички в петлице не хватает клещи белые а фонтан отключен воды нет только грязь на дне жидкая а у бортика гранитного мальчик маленький с мамашей ревет машинку туда забросил пластмассовую грошовую а мамаша выпуклая такая молодая блондиночка помогите ребята ну Мишка джентльмен детей любит да и на мамашу косит раз-два на бортик стал нагнулся игрушку подцепил ну и поскользнулся жопой в грязь вылезает чучело чучелом весь капает мамаша мальчики мальчики спасибо большое вот платочек вытереться из сумочки достает беленький кружевной с ладошку а какой там платочек у Мишки вся задница и спина он ее матом платочек на землю плюнул ногой растер а мальчонка хохочет дяденька еще еще мамаша его за руку да скорей от греха подальше а мы газировкой Мишку отмывать так и не попали в кино...

Ей часто звонили домой и с сильным английским акцентом спрашивали «мистера Стоковского». Когда ей надоедало объяснять ошибку, отвечала, что он здесь редко появляется, разве зайдет

случайно. Иногда о нем осведомлялись на английском. В очередной такой раз она рявкнула в трубку: «I don't understand!», на что последовало на чистом русском:

— Чего?..

Пойти на бульвар и прижать к сердцу родную чугунную завитушку ограды.

— Девушка, девушка, — молоденький лейтенант спотыкается на сходе с эскалатора и устремляется за ней по перрону, — выходите за меня замуж! Да не шучу я. Встретимся завтра, в 10 утра, у ЗАГСа. У меня отец большой генерал, он все устроит, чтоб сразу. Мне послезавтра в Монголию на два года. Сдохну я там без жены!..

Срединная площадка бульвара обратилась в снежную целину, и пробираться туда пришлось по узкой тропке. Пушистые скамейки, выстроившиеся кольцом вокруг сугроба на месте клумбы, напоминали лагерь храброго Яна Жижки из школьного учебника. И чтобы усесться на одну из них, надо было вперед разгрести в ней нишу.

— Я тут намедни сгоряча промолчал...

1970

В дневное время едва освещенный дежурной лампочкой буфет Большого театра заполнен перекусывающими меж репетиций артистами — кто в халате, кто в трико, перевязанном на поясище шалью, кто в каких-то бинтах, кто чуть ли не в исподнем, но с накинутой на плечи гусарской тужуркой потускневшего золотого шитья.

За огромной дубовой стойкой буфетчица болтает с костлявой балериной в выцветшем голубом халате. Положив перед собой кошелек, та отхлебывает из чашки кофе, а ее левая нога, задранная высоко назад, терпит в руках усердно разминающего ее массажиста.

По желтоватому проходу рабочий в фартуке катит к буфету тележку с поленицей балыков.

В красноватом сумраке кабинета, позолоченном далекими звуками оркестра, сидел маленький сухонький балетмейстер в большом халате.

— Мам, а Еву с Адамом из рая выгнали за то, что немые яблоки ели?

Единственным предметом роскоши в его спартанском жилище был арабский, красной кожи с золотым тиснением пуф.

Толстые витые шнуры, перетягивающие его, глубоко врезались в тугую кожу, отчего он весь казался расчлененным на дольки, вроде очищенного мандарина.

Пуф этот был куплен года полтора назад. Он увидел его в большом универсальном магазине, куда зашел погреться. Долго ходил вокруг,

любовался и прикидывал, как удобно было б, сидя на таком, читать, привалившись спиной к стене.

С полочки поехал в магазин, купил пуф и привез к себе на квартиру — тогда он снимал квадратную комнату с пожелтевшими обоями на втором этаже провонявшего кухней деревянного дома на 3-й Тверской-Ямской. Из мебели кроме пуфа там была большая железная кровать, круглый стол без скатерти и стул.

С тех пор при каждом очередном переезде — в среднем раз в четыре месяца — пуф оставался у хозяев в заложниках. Но после выкупался. И он ехал с ним через город в новое жилище, что было весьма удобно: дорогой можно было присесть на него в переполненном транспорте.

Приметив в позднем, полупустом вагоне метро хорошенькую девушку, элегантный грузин средних лет с пронзительными глазами поднялся с места, перешел вагон и уселся напротив. При этом он распахнул и запахнул полы черного пальто, точно расправил крылья.

Англосаксы, ожидающие в Москве увидеть Азию, и монголы, мечтающие повстречаться тут с Европой.

О своем детстве он рассказывал: «Всего обидней, когда у тебя, заснувшего днем, вынимают из-под уха подушку. Не со злости, а просто забирают — чтоб самому прилечь. А ты остаешься лежать головой на твердом плоском диване. И когда потом просыпаешься и понимаешь, что над тобой сделали, тебе хочется плакать».

Так жить — это как завтракать холодными творожниками, глядя в кухонное окно на заснеженную улицу.

Под гипсовым небом актовых залов.

Большая черная с проседью собака стоит в проходном дворе, уставившись в снег.

Идущая через двор женщина останавливается, достает из сумки пачку сахара, надрывает край и протягивает псу два куска.

Тот делает шаг, берет их, не подняв глаз, у нее с руки, возвращается на прежнее место и снова принимается смотреть в одну точку.

Женщина, вздохнув, прячет пачку обратно в сумку и отправляется своей дорогой.

Это был чрезвычайно жизнерадостный молодой человек — закуску он называл разминкой.

И улыбнулась такой улыбкой, что подумалось: а ведь может уку-сить.

Свое писательское бессилие он ощущал словно тяжелую болезнь. И подробно описывал ее, во всех проявлениях и муках. Втайне наде-ясь, что в этих-то описаниях как раз откроется его сила...

«Ложкой моря не вычерпать». Ну а вычерпаешь — куда воду-то выливать? Вот и будет снова море.

Ревновал даже к шарфику, скрестившему руки у нее на шее.

Культработник сталинской эпохи.

Всю жизнь прожил дурак дураком. Так и умер — не приходя в со-знание.

Фирменные бутерброды в этой пивной соорудались так: на боль-шом ломте черного хлеба пять-шесть серебристых килек веером, а поверх хвостов, чтоб их прикрыть, бело-желтый кружок из вареного яйца. Все вместе походило на исходящее лучами солнце, и потому именовалось: бутерброд «Восход».

У него было удивительное свойство: любая женщина, с которой он шел по улице, или разговаривал, или просто оказался рядом в троллейбусе, — казалась его подругой и любовницей.

Когда он вдруг умер, множество женщин подумали: «Это из-за меня».

Больничное помещение было поделено стеклянными перегородками на одинаковые отсеки, так что, войдя в один из них, он принял стекло за зеркало и вздрогнул, не обнаружив там своего отражения.

- Ну а работаешь-то где?
- В почтовом ящике.
- А-а, газеты разносишь...

Был до того влюблен, что сердце замирало от любого слова с женским окончанием: «пришла», «видела», «устала»...

Простое счастье дачной электрички, переполненной цветами.

Поганки в белых кружевных панталончиках.

За остановку поезда стоп-краном потребовали штраф 25 рублей. Протягивает сотенную. Нет сдачи.

- Ну ладно, я еще три раза остановлю.

По ночам ходил под окна родильного дома слушать крики рожениц.

- Нужна она мне, как твоей бабушке водолазный костюм!

Да он сам себе велосипед.

Сладкий ресторанный тенор улыбнулся в зал и запел что-то вроде:

Бумажные цветы
недорогих романсов,
любимая моя,
прими из белых рук...

Овладев женщиной, ощущал себя, точно овладел миром.

Город Краснобайск.

— А правда, что английская королева курит «Приму»? Только из какого-то особого цеха, не то что мы?..

С таким злым выражением глаз, каким отличаются разве что школьные учительницы младших классов.

Под часами прохаживался мужчина лет пятидесяти с безобразным багровым шрамом на лице и с удивительной красоты осенним букетом в руке.

Лица японок — белые и неподвижные, как молоко в плоских фарфоровых чашках.

Это была редкостно красивая женщина. Той крайней, бросающейся в глаза мерой красоты, когда та уже граничит с пороком. И в разные минуты, в зависимости от настроения и выражения глаз, она казалась то по ту, то по эту сторону черты.

«У бабушки моей была горничная. Очень бабушку уважала. Когда родилась мама, у бабушки было так много молока, что оставалось. И горничная с ним чай пила: не могу, говорит, чтоб барское молоко пропадало».

1971

У старого актера в его квартире на Чистых прудах часто собиралась молодежь: актеры, художники, просто барышни.

Однажды посреди такой ассамблеи он встал, обвел всех взглядом:
— Надоели вы мне все, ну вас на хер!
Вышел в соседнюю комнату — и умер.

Швейцар презрительно отвернулся, показав камергерскую спину.

Кошмарная джюльеттина любовь.

Музейный экскурсовод обладал удивительным даром говорить готовыми формулами. О писателе-земляке, например: «Это большой, жизненный, близкий народу талант». К экскурсантам-колхозникам обращался не иначе как «труженики полей».

Переводчик беззвучно, как рыба, шевелил толстыми губами на ухо послу.

Майор Кегебешкин.

— Ты мне в сыновья годишься!.. — Помолчав, прикинув: — В старшие!

У нас что ни дождь, так хождение по водам...

Вот и марсианские арки Курского вокзала поносили.

Рафаэль

Вагонные двери открылись, на мгновение стало тихо, и я услышал, как, входя за мной следом, он пробормотал: «Карету мне, карету!.. хотя какая карета... метро...» Я оглянулся на эксцентричного старичка, тот заметил и тут же ко мне подсел. И сразу быстро заговорил, жестикулируя.

— Сделал портрет Есенина тридцать пять на сорок. Продам. Лицо вот такой высоты, — он показал пальцами. — Маслом. На грунтованном картоне. Картон в художественных салонах по 10 копеек штука. На 25-го Октября салон, на Петровке возле Пассажа салон, на Кутузовском тоже салон, — он загибал пальцы. — Пятнадцать рублей просил, дал тринадцать. Черт с ним, двух рублей не жалко. Хороший портрет. Глаза синие. Волосы желтые. Сосед мой посмотрел — он пьет, правда, — это, говорит, кто — Пушкин? Ты, говорит, кто: Рафаэль? Рубенс? Леонардо да Винчи? (Это художник знаменитый, итальянец.) Ты, говорит, Сур-гуч-кин! Ты по цветным открыткам намастырился! (Он пьет, правда, сосед мой, плохо видит.) Ты, говорит, в газетном киоске покупаешь портреты по пятаку. Киноартистов. Цветными карандашами перерисовываешь. С натуры рисуй, с на-ту-ры! Репин! Рафаэль! Тебя в художественном училище надо лет пятнадцать учить. Господь с тобой, говорю, мне уж шестьдесят пять, станет восемьдесят. Я и не доживу. А для меня это... этим и дышу только. На пенсии я. Вот Аиду нарисовал, Софи Лорен. «Аида» — опера. Софи Лорен не поет, только шевелит губами, — старичок показал, как она шевелит. — Это в кино бывает...

— Та-та-та-та... — я попытался изобразить марш из «Аиды».

— Вот-вот! — Старичок обрадовался. Он был сухонький, желтенький, чистый такой старичок. В коричневом пальто длинном. Весь немного заштопанный, потертый немножко, но опрятный. А он продолжал говорить:

— ... Аида — она служанка у фараона. В Эфиопии где-то. В золотом колье, — он изобразил руками колье, — и в серьгах.

Лицо такое выразительное, волосы на затылок, вот так. Сосед мне говорит: «Тебе лучше в зоопарке рисовать — бегемотов, жирафов, слонов. У жирафа шея пять метров, нарисуешь шесть — не придерется никто, с метром не пойдет мерить. То же слон. На полметра длиннее хобот, на полметра короче... А то смотри, милиция заберет за искажение, за халтуру. Рафаэль! Репин! Фамилию смени, Сур-гуч-кин!»

Я Рафаэля портрет написал. Соседа привел. Смотрю на портрет и говорю: «Рафаэль! Ревную тебя к твоему таланту!» Сосед мой рассердился: «Как смеешь!» Но он, правда, пьет, плохо видит. А я от души. Рафаэль был флорентиец. В тридцать семь умер. Ему папа Пий, не то Девятый, не то Восьмой, велел портрет написать. Но папа жестокий был, и лицо жестокое, а велел добрым изобразить. И Рафаэль его написал мягким, добрым. «Это, — говорил, — не тот папа, какой есть, а тот, каким должен быть!» Я книжку читал. — И старичок изобразил, как этот папа сидит у Рафаэля...

Я встал выходить на своей станции. Старичок схватил меня за руку:

— Я чертежник был по профессии. Но в этом вся моя жизнь — вся жизнь!

Ресторан «Вечерний араб».

Драматург Навозный-Жижин и театральный рецензент Стаканов. Хорошая парочка.

К деду, продающему на Птичьем рынке чижа, пристал мальчишка:

— А он, дедушка, поет?

— Поет, поет. А четвертинку поставишь, так и ногой притопывает!..

Залитая солнцем площадь была полна счастливых женщин.

Воробей, этот дервиш среди пернатых...

Мальчик всю дорогу смотрел сквозь круглую дырку в коробочку, где у него сидела белая мышь, и мысленно был там, внутри, с мышкой.

Нинка-матрасик, Тонька — резиновая попка.

В историю вошел и цензор Пушкина...

Сутулые старинные фонари.

После него остался только потертый фрак, коллекция чубуков и полный стол любовной переписки.

Самобытный дурак.

Она умела любить только то, что в пределах видимости.

«В Средние века легко было чертей рисовать — они их на каждом шагу видели, как мы милиционеров...»

Сложные взаимоотношения старушки с автоматом, продающим автобусные билеты.

Черпал вдохновение в утренних газетах.

Из двери вышел мужчина в подтяжках, вытряхнул помойное ведро в мусорный бак — и оттуда выпорхнул голубь. Получилось как у фокусника.

Кастрюльная голубизна неба.

Железные завитушки кровати спинки наводили на мысль о решетке Летнего сада.

С незагорелыми полосками от сандалий на подъеме маленькой ноги.

Ты спишь, и весь мир лежит на боку...

Для счастья всего-то нужно — цепочная карусель. Вокруг все вертится, и полощутся на ветру легкие женские брючки.

«Кипяточек-то есть, только холодный», — кивнула проводница.

А дальше, за домами, зеленым рулоном раскатывался горизонт.

Свободный человек

Внутри украшенного табличкой «Здесь бывал Лев Толстой» тульского вокзала спят, сидят и лежат на желтых скамьях из толстой гнутой фанеры. У подоконника, поглядывая сквозь широкое стекло то на перрон, то на похрапывающих в зале, расположился небольшой мужичок с приятно крупными чертами лица. В солдатской шапке не по сезону, в распахнутом драповом пальто с обвисшими плечами. Бесформенные брюки аккуратно заправлены в тяжелые казенные башмаки с железными клепками. Зато рубашка щегольская, розовая, с узором.

Стоит, прислонясь к окну, весело смотрит, бросает тому-другому проходящему словцо, каждого примечает, а сам быстро, но аккуратно поедает копченую рыбку, разложенную на бумаге. Тут же и полбатона хлеба: отщипывает мякиш, отслаивает от рыбки длинный ремешок с хвоста, бросает в рот, не проронив ни крошки. И наслаждается свободой.

Поймав мой понимающий взгляд, подмигивает:

— От «хозяина» я... — и показывает, бросив в рот последний кусочек, решетку пальцами.

Свернул замаслившуюся бумагу, кивнул мне напоследок и пошел — приветливо посматривая направо-налево, бросая словечко туда-сюда...

Туман развесил сети...

Все мое детство было отравлено шнурками на башмаках, с вечными их узлами.

Осознанная слабость не слабость уже, а лень.

Жена цензора — вне подозрений.

Лишь ребенок способен, сидя на корточках, беседовать с улиткой.
И даже с ее пустым домиком.

От стакана воды со льдом повеяло речным холодом.

Черный, тонкоусый, в белых крагах милиционер-кавказец на перекрестке дирижировал движением, как оркестром.

Волосы у него были промыты так чисто и причесаны так аккуратно, что по пробору пробежал огонек от люстры.

Аристократы Центрального рынка в золотых перстнях.

Редактор грузно нависал над столом, а между тумбами были видны его кокетливо скрещенные ножки в маленьких ботинках.

Власть над вещами женщины проявляют перестановкой мебели.

Ну что ты все плачешь в зеркало!..